

БЫЛИ ЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ?

С.С. Неретина
Институт философии РАН

Аннотация: *Статья посвящена анализу и оценке книги: Макаренко В.П. Научно-техническая контрреволюция: идеи М.К. Петрова как источник мысли. – Ростов-на-Дону, 2011.*

Ключевые слова: *философия, чистая мысль, самодетерминация, ментальность.*

Смысл обсуждения книги В.П. Макаренко «Научно-техническая контрреволюция» не только в том, чтобы рассмотреть «идеи М.К. Петрова как источник мысли» (эти слова являются подзаголовком книги) и соответственно показать способ, каким эти идеи оказываются источником мысли, но и в тех проблемах, которая ставит сама эта книга. В противном случае возможен такой оборот дела, когда идеи известного мыслителя затмят идеи книги, посвященной собственно не ему, а вполне определенному активному желанию разобраться в современной философской ситуации.

Свое выступление я разбила бы на три части: 1) представление основной идеи книги Макаренко; 2) краткий анализ соответствия идей книги идеям Петрова; 3) некоторые рекомендации. Совершенно, однако, очевидно, что некоторые соображения будут переплетаться.

1. То, что можно приветствовать: яростный анти-авторитарный запал, который сопровождает мысли Виктора Павловича, запал в настоящее время насущно необходимый. Сейчас стало особенно очевидно, что недавнее желание и попытка построить государство на демократических основах столкнулись с жесткими препятствиями ментального порядка: общество, практически не знающее, что такое демократические основы, реально решило сконструировать *неосоветское* государство на усеченном *неороссийском* пространстве с учетом возможностей и потребностей в рынке с прогнозируемым и регламентируемым переделом собственности и со свободой слова без гласности или при неполной гласности.

Настрой на тотальное государственное преобразование (выраженный именем «перестройка») и образование гражданского общества сменился апатией большинства населения при одновременном политическом возвышении сложившихся групп коррумпированных политиков-бизнесменов со штампованными лозунгами, а вместе с тем трудным «низовым» повсеместным запуском производств и трезвым анализом «нашего положения», требующего –

может быть, прежде всего – правового образования. В противном случае право замещается непреднамеренным беззаконием, преднамеренным обманом или преступлением, о чем говорил Гегель. Двойственная позиция государства в отношении правосознания сейчас очевидна: с одной стороны, показательные уроки судопроизводства демонстрируются едва ли не на всех каналах телевидения, с другой, происходит немотивированное попрание прав собственности и прав человека.

За 90 с лишним лет, прошедших после Октябрьской революции, далеко не полностью разрушилась старая идеология. Недавно студент подошел ко мне и сказал, что сейчас народ надо держать в узде, поэтому хорошо бы вернуть Сталина. После ликвидации СССР прошло 20 лет, кто или что могло внушить ему подобные мысли, если не глубинное существование самих этих идей.

* * *

Даже простой строго и определенно оценочный пересказ проблем соотношений науки и власти, создавших «комплекс “служения государству” и вместе с тем востребованных «право на сопротивление», здесь важен как апелляция к пониманию, как напоминание, как, наконец, сильнейшее возражение со стороны истории, философии, науки той перестройке образования, перечеркивающей саму идею образования, и тем вполне реальным действиям сопряженной с собственностью власти заставить людей подчиняться ее авторитаристским устремлениям или создать, как пишет В.П. Макаренко, «макиавеллизм личности (сознательную квалификацию лжи как истины)»¹.

При проведении успешной критики, на мой взгляд, необходимо, не только видеть способы существования советских принципов на постсоветском пространстве (этот атавизм известен любому обществу), но и анализировать принципы существования новых постсоветских поколений людей, а то, что перед нами иное общество, базирующееся на иных основаниях, – это совершенно очевидно. Если провести анализ не «из традиции», а из этого иного, то обнаружится и иной мир. Нынешнее обсуждение не позволяет обсуждать современные проблемы. Могу сказать только, что примерно полтора года назад я обратилась с просьбой к сотрудникам нашего Центра (методологии и этики науки), которым руководит А.П. Огурцов, написать статьи, как каждый из нас лично представляет себе, что ныне представляет собой философия. Вначале мы опубликовали эти работы в он-лайн-журнале «Vox. Философский журнал», а затем составили книгу «Философские акции» (М.: Голос, 2011). Наше время – после мировых войн, Холокоста и ГУЛАГа, – казалось бы, жестко обозначило ситуацию конца (и об этом кто только ни писал!), поскольку было сочтено, что утрачены все возможности философии. Однако это же время пустоты, ничтожности наставило нас на путь кропотливого исследования истории философии, на котором можно увидеть настоящие философские исследования, проблемы и трудности, стоящие перед мыслью. Одна из этих апорий состоит в том, что всмотреться в себя не так-то легко, поскольку компьютер, скажем, отнял у нас память. Сейчас и Мандельштаму было бы невозможно сказать: «Петербург, я еще не хочу умирать: у меня телефонов твоих номера...»: они в мобильниках. Мы пусты. Мы отстранили от себя всё. Остается чистая, голая свобода – мысль, не скованная никакими традициями. Наша пустота и есть наше начало. Не заметить этого нельзя, как нельзя не заметить и того, что у нас есть много такого, о чем не скажешь, поскольку оно окружено пустотой... Мы с другого конца упираемся в слово «философия», рожденное в недрах тайного общества Греции, где оно появилось среди мощной школы молчания и трудоемкой мысли. Но вот оказывается, что оно потребовалось для осознания каждой маленькой и не слишком заметной

¹ Макаренко, В.П. Научно-техническая контрреволюция: идеи М.К. Петрова как источник мысли/ В.П. Макаренко. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 10-11.

жизни. Она создала рекламу как быстро прилаженное емкое, запоминающееся слово, пока молчат или кричат о молчании философы, создала небывалую академию общения, все эти livejournal, facebook, разные форумы, контакты и прочие свидетели дела мысли. Человек сам из себя рождает формы общения, не заданные традицией, не продиктованные религией, шифруя себя, не показываясь из-за завесы ников или псевдонимов, дозволенных Софией-мудростью, которая может быть понята и как хитроумие. Люди, может быть, впервые проявили такую инициативу – не по зову партии, не из политических или идеологических соображений – образовать свой парламент (чем и являются все эти «живые журналы» и форумы), куда вхожи все, свою демократию, где у каждого есть свой голос. Эта скрыто-откровенная демократия и есть новая форма философии. Демократия голоса, нахождения и обретения его, власти голоса, при котором не боишься учителей, не боишься, что тебя назовут дураком, где ты скрыто откровенен или – полифоничен.

Такое положение позволяет иначе взглянуть и на старую альтернативную советской философию и гуманитарную науку и увидеть в ней черты, близкие к советской парадигме мысли. Так, например, М. Вальдштейн в книге «Советская империя знаков: История Тартуской школы семиотики»² совершил это исследование, чтобы «представить симметричную оценку взаимодействий между наукой и обществом в истории советских гуманитарных наук... только такая перспектива позволяет нам избегать произвольной редукции исследуемого знания к его чисто интеллектуальному содержанию в противовес продуктам социальных “внешних эффектов”. Рассматривая науку и общество “симметрично”, я, – пишет Вальдштейн, – учитывал каждый аспект деятельности школы одновременно как “интеллектуальный” и “социальный”»³. В этой книге тартуская школа исследуется как «параллельная» советской «наука» и империалистским оказывается «стремление к универсализации своего объекта и онтологизации метода. Применительно к Тартуско-московской школе такая критика не нова: ее высказывали еще Б.М. Гаспаров и А.М. Пятигорский на закате существования школы». Однако Вальдштейн подчеркивает другую сторону имперскости: это явление, традиционное для филологии и славистики и идущее изнутри этих дисциплин, воспринималось как «республиканско-демократическое» или, точнее, «многонациональное и многоязычное царство», где «система взаимоотношений выстраивается по образу и подобию официальной академии». Это приводило «к замыканию в узких кругах единомышленников и к представлению об универсальности своего метода и унитарности мнений; в этом смысле параллельная наука – типично советский институт»⁴.

Еще раньше (в 1993 г.) подобную сравнительную методологию применяла я сама в исследовании принципов истории (см. статью во вскользь упомянутом Макаренко сборнике «Подвластная наука? Наука и советская власть»), в сопоставлении исследовательских принципов школы Гревса и А.А. Богданова в статье «Идея культуры: от трансцендентного к имманентному. О философии в СССР после Октября» (опубликованную в книге «Философские одиночества», М., 2008). В книге из той же серии «Философия России второй половины XX в.», посвященной В.С. Библеру, помещена статья Л.А. Гогтишвили «Автор и его ролевые инверсии (к сопоставлению подходов В.С. Библера и М.М. Бахтина), которую можно понять не только как разведение позиций Библера и Бахтина («понятие культуры как самодетерминации... применительно к автору» и самоисключение автора «из состава события бытия в пользу другого (абсолютный отказ Я от завершения и воплощения, а значит, и от

² Waldstein, M. The Soviet Empire of Sign: a History of the Tartu School of Semiotics/ M. Waldstein. – Saarbrücken, 2008.

³ Цит. по переводу: Поселягин, Н. Ab imperio humanitario/ Н. Поселягин // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 111. – С. 339.

⁴ Там же. – С. 339, 340, 341, 342.

«самодетерминации»⁵), которую вполне можно понять как выступление против унитаристской концепции автора в произведениях В.С. Библера в пользу проблем полифонии.

Нетрудно заметить, что *такого рода критика – основное в книге Макаренко*. Он поставил акцент на то, каким образом проявляется авторитарное в неавторитарной, казалось бы, мысли, рожденной в условиях тоталитаризма, к какому бы направлению (советскому – анти-советскому, марксистскому – анти-марксистскому) ни принадлежал сам автор этой мысли. Это делает книгу весьма актуальной, поскольку обнаруживается настолько сильный традиционалистский настрой, что, несмотря на активное желание его победить, этого не позволяют сделать устоявшиеся ментальные структуры. Если рассматривать книгу с этих позиций, то некоторые высказывания Петрова, на которые с радостью откликается образованный ум, как оказывается, принадлежат той же унитарной тенденции. Когда, например, он говорит о телевизионных программах, о том, что «электронное облучение творческого потенциала не только не уступает по эффективности атомной бомбе, но и много “грязнее”: убивает стремление к книге – единственному средству выхода на передний край познания... Кино, и радио и десятки других менее значительных, но не менее верных способов «убить время» и парализовать мысль»⁶, то эта характеристика, относящаяся к 70-м годам XX в., в десятилетия XX I в. вызывает недоумение, ибо (см. выше) СМИ и интернет-пространство создали особую интеллектуальную сферу для философии, поменявшую самого субъекта и философии, и истории (им стала масса). Виктор Павлович подчеркивает, что этот «тезис Петрова о том, что книга – единственное средство выхода на передний край познания, оказывается спорным»⁷. Соглашаясь с ним, я лишь хотела подчеркнуть, что одновременно он также несет в себе заряд некоей авторитарности, с какой связано и его представление об авторской и личностной самодетерминации. Ясно также и то, что «духовное оскотление», идущее от власти, не в меньшей, если не в большей мере идет от самого желающего человека, которому, однако, легче пенять на зеркало, чем на самого себя. Более того, приведенная цитата сродни всем высказываниям переломных эпох: Платон сетовал на то, что письменность уничтожает устное предание, иудеи – на то, что перевод Ветхого завета на греческий умаляет идею Бога, который жил в каждом завитке их письма. Так и мы стараемся свою, книжную, традицию, предпочтенью компьютерной. Петров, однако, обнаружил ту философскую боль от ухода старой ментальности в 60-70-е годы XX-го столетия, которая для нас стала очевидной только на излете того века, и постарался ее выразить, и в этом его неизменная заслуга.

В этом же плане можно рассмотреть и полемику между Ильенковым и Петровым, которую в определенных (близких Петрову) кругах принято рассматривать негативно относительно Ильенкова. Между тем спор у них идет о разном понимании того, что такое наука, спор жесткий, потому что в то время действительно столкнулись две позиции и в философии, и в науковедении. В этом споре раздражает интонация Ильенкова: он резок и менторски-ироничен, отчего возникает неприязнь даже к разумным доводам (неприязнь такая, что все даже дельные доводы не воспринимаются как дельные), спокойный же, раздумчивый тон Петрова заранее обеспечивает ему более высокий философский статус. Надо сказать, однако, что в 60-е годы XX в. не очень-то задумывались над интонационной техникой высказывания. Предмет спора брался за рога. Противника в момент спора почти ненавидели. В этом «или – или» действительно было много от нетерпимости, отсутствия школы мысли, породившей такой феномен, как «западное» смирение, о чем пишет Макаренко, цитируя И.П. Павло-

⁵ Гогтишвили, Л.А. Автор и его ролевые инверсии (к сопоставлению подходов В.С. Библера и М.М. Бахтина / Владимир Соломонович Библер / Л.А. Гогтишвили. – М., 2009. – С. 183.

⁶ Макаренко, В.П. Научно-техническая контрреволюция... – С. 7.

⁷ Там же. – С. 11.

ва, и что, кстати, сохранилось и до сих пор. Попробуй, оспорь позицию того же Михаила Константиновича, коль скоро она (опять же) в определенных кругах и определенными людьми воспринимается исключительно апологетически после ее многолетнего запрета! Но ведь и после запрета прошло уже столько же лет, сколько их было до запрета, ан, видимо, старые тревоги сохраняются.

Однако если все же постараться преодолеть настигающие воспоминания и если вникнуть, что мысль жива лишь постольку, поскольку она критикуется, то есть выносится на суд, рождающий суждение, то, вникнув в спор Ильенкова и Петрова, нетрудно заметить, что Ильенков не менее, чем Петров, чуток к современности, если в те давние годы ставил проблему «произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (название книги В. Беньямина 1935 г.), то есть репродукции, которая является основой «любой целостности» (кстати, я не уверена, что Петров, выдвигая тезис о различении творчества – репродукции творчества – репродукции, считал репродукцию «античеловеческим феноменом»). Да и что предосудительного в тезисе Ильенкова, что «революции происходят не для разрушения форм репродукции, а для обеспечения более рациональной организации их исторически унаследованных форм, для спасения, а не разрушения культуры»? С этим можно не согласиться, особенно с утверждением, что революция спасает унаследованные формы культуры: мы слышали послереволюционные лозунги о необходимости «сбросить Пушкина с корабля современности». Но по смыслу этот тезис совпадает с задачей В.П. Макаренко показать живучесть «старых» форм в головах и их сторонников, и их гонителей. Если следовать методологии В.П. Макаренко, то можно сказать, что представленная в книге позиция Ильенкова, оставаясь по comment, *выглядит* как предосудительная, но таковой не является.

2. О подзаголовке. Для третьей, четвертой и пятой глав некоторые тезисные утверждения Петрова («источники мысли») используются как «шапки». Эти утверждения затем, по замыслу автора книги, развиваются, радикализуются, уточняются и «пропускаются» через современный материал: обсуждений, семинаров, круглых столов. Само по себе введение такого обсуждения в книгу, гораздо более дающее для понимания того, как рождается мысль, большая заслуга Виктора Павловича. Подробный, иногда почти протокольный отчет обсуждаемых проблем дает возможность (с помощью того же Интернета) подсоединиться к выступающим, и такое подсоединение будет не менее «живым», чем личное присутствие, поскольку Сеть, которую Макаренко называет несколько пренебрежительно «свалкой»⁸, а я – носителем свободы слова, дает возможность мгновенного отклика. Сама эта подробность и протокольность превращает мнение автора в *одно* из мнений, с ним можно соглашаться, не соглашаться, даже не обращать, если хотите, внимания.

В этом смысле Виктор Павлович выступает как представитель абсолютно современного сообщества: его концепт произведения, даже вопреки его желанию, если оно таково, предстает как обмен между единичностями, которые не совпадают с традиционным пониманием сообщества. Когда он со ссылкой на Б.Г. Юдина⁹ писал о том, что в России не сложилось «нормальное научное сообщество», он писал на деле именно о насущной современности, для которой характерна открытость одного индивида другому, требующая не совместного бытия или нацеленности на сохранение одной-единственной «правильной» мысли, а одной только вовлеченности. В этом смысле книга Виктора Павловича представляет собой прекрасный образец того, как борьба с чем-то отжившим и оживающим, с чем нельзя примириться, оборотной своей стороной показывает необходимость своего рода толерантности, поскольку, возражая, она ничего не навязывает: книга заканчивается вопросом, обращенным к читателю, – как знание может защитить личность? Если рассматривать проблему так, то представляется

⁸ Там же. – С. 70.

⁹ Там же. – С. 26.

несколько странной опора на типологию личности, данную Л. Столовичем (твердолобый ортодокс, образованный ортодокс, циник), поскольку эта типология относится исключительно к административно-инстанцированным личностям, если их можно так назвать, тем более, что лично я не вполне понимаю разницу между всеми тремя ортодоксами, ибо один может сочетать все три типа. Макаренко, согласившийся с такой типологией, все же понимает их ироничность, потому что пишет, что ему «неизвестны конкретно-социологические исследования, подтверждающие или опровергающие эту типологию». Можно напомнить, что не менее ироничную типологию произвел А.А. Зиновьев (его вершители судеб классифицировались по цвету лица: красные и синие). Но вполне серьезно обсуждали проблему старого и нового отечественные «формалисты», анализировавшие проблему «архаистов» и «новаторов».

Если вернуться к идеям Петрова как источникам мысли для книги, то для первой главы таким источником стала сама жизнь Михаила Константиновича. Для второй главы, специально, некий тезис Петрова не оговаривается, но ясно, что здесь идет речь о вовлеченности его цивилизационных идей, темы пиратства, а главное идеи ментальности. Вся обширная глава посвящена апологии Ф. Броделя и развенчиванию мифа о А.Я. Гуревиче, которому автор книги обязан только за то, что тот «подсказал тему этой главы... и привел в движение механизм»¹⁰, проясняющий смысл ментальности. Как относиться к Броделю и Гуревичу – личное дело автора, однако сравнивать их можно только при анализе того, что стояло между ними – средневековых документов. Здесь этого нет, а потому я специально не касаюсь этой темы. Хочу заметить только, что спор между А.Я. Гуревичем, который причислял себя к школе «Анналов», и французскими представителями этой школы лежал не в сфере соотношения войны и цивилизации (это частная проблема), а в сфере культуры и цивилизации. Гуревич строил свои произведения как анализ категорий средневековой культуры, а французские исследователи проводили цивилизационный анализ («Цивилизация средневекового Запада» – название книги Ж. Легофа). Виктору Павловичу почему-то не дает покоя, почему А.Я. Гуревич перепубликовал свое предисловие к Броделю? Сознательно или бессознательно, по своей воле или выполняя соцзаказ?

Когда в октябре 2010 г. В.П. Макаренко прочитал доклад о Гуревиче – Броделе, я выступала резко против его инсинуаций в адрес Гуревича и Лотмана, настолько резко, насколько позволяли вежливость приглашенного участника конференции и необходимость ответить на несправедливость. Я дала не «нечеткий ответ»¹¹, а вполне четкий, к тому же это было мое самостоятельное выступление, а не просто ответ на вопрос, как пишет В.П. Макаренко. И сейчас могу повторить: А.Я. Гуревич никогда ничего не писал на заказ, тем более не выполнял соцзаказ, и если ему по вполне определенным причинам не импонировала позиция Броделя, которую в данном моем выступлении не место разбирать, то он эти причины выставил, и В.П. Макаренко их также представил. Они могут его не устраивать, но это не основание для подозрений А.Я. Гуревича в тайных интригах. Возможно, как предположил А.В. Лубский, он и «замолчал перечисленные аспекты теории Фернана Броделя по причине собственных антропологических пристрастий»¹², хотя слово «замолчал» предполагает нечто нарочитое, к Гуревичу отношения не имеющее. Ответов на вопрос, почему слепой Гуревич воспроизвел текст, «наверняка написанный в советское время»¹³, может быть несколько: потому что считал, что его позиция не изменилась; потому что заново из-за болезни писать не мог; потому что... а почему, кстати, В.П. Макаренко не обратился к нему с этим вопросом?

¹⁰ Там же. – С. 129.

¹¹ Там же. – С. 74.

¹² Там же. – С. 129.

¹³ Там же. – С. 74.

Арон Яковлевич живо откликался на все вопросы и уж точно не отказался бы разъяснить это недоумение. А почему переиздаются многие написанные в советское время стихи и романы, например, песенка о комсомольской богине Б. Окуджавы? Да думали так! И при этом не было ни аккомодации, ни коллаборационизма, ни угодничества. Действительно, в данном случае «возникает ощущение неловкости», но не от того, что Арон Яковлевич перепечатал свой текст, а от подозрительности, которая уж точно из советского времени. Что касается меня, то я никогда не выражала отрицательного отношения к школе «Анналов»¹⁴. Она многому меня научила. Точнее, не она, а школа И.М. Гревса, я о ней писала и в книге «Время культуры», и в «Философских одиночествах». У меня другой метод отношения к источникам, к истории. Да я и не историк, а философ. В книге «Воскресение политической философии и политического действия. Парижское восстание 1356-1358 гг.», которую я сейчас готовлю к печати и которая должна была некогда стать моей кандидатской диссертацией, я пишу о некоторых промахах некоторых представителей этой школы, но это ведется на уровне обсуждения конкретных проблем и источников, давших для этого основания. Можно даже сказать: это обмен мнениями. Я к тому же и Михаила Константиновича Петрова не «прописывала» ни по области культурологи, ни по области семиотики, ни по науковедению, ни по каким-либо другим дисциплинам, кроме одной – собственно философии, одним из значительнейших персонификаторов которой он является. Для этого достаточно взглянуть на мое предисловие «Личность через схематизмы культуры» к статье Петрова «Человек и культура в научно-технической революции», опубликованное в № 5 «Вопросах философии» за 1990 год. То, что он пользовался методами разных наук (чего стоит название «Язык, знак, культура»), – совсем другое дело. Это испытание метода на пробу, «на зубок», применение к объяснительным процедурам, представляло диалог с мировой философией, что и есть собственно философствование. Поэтому упоминание на с. 130 моего имени наряду с теми, кто считает Петрова «великим продолжателем идеи особой миссии России», я считаю некорректным.

Что же касается проблемы ментальности, то в книге о ней говорится много, но в основном отталкиваясь от тех представлений, которые сложились у российских ученых. Так, например, за основу почему-то принимается понимание менталитета как «неясных и небуржуазных установок и структур сознания»¹⁵. Однако достаточно посмотреть книгу «Споры о главном» (результат встречи русских и французских сподвижников школы «Анналов»), чтобы обнаружить, что такое определение – одно из множества, в том числе включающих и «общий тип поведения, свойственный и индивиду и представителям определенной социальной группы, в котором выражено их *понимание* мира в целом и их собственного места в нем» (Ж. Легоф)¹⁶. Поскольку понятие менталитета вошло в обиход ранее, чем о нем заговорил Петров, то необходимо было бы включить его понимание в этот спор, одного указания на реконструкцию его концепции¹⁷.

Для гл. 3, 4 исходным пунктом послужило, как считает Макаренко, представление Петрова о научно-технической революции и контрреволюции. К сожалению, я не нашла последнего термина у самого Петрова. Книги Петрова «Историко-философские исследования» (М.: РОССПЭН, 1996) на которую ссылается Макаренко, у меня не оказалось. Но, к сожалению, Макаренко не привел ни одной цитаты, где Петров употребляет этот термин. То, что он приводит на с. 131, три цитаты на две – третья и четвертая – главы (1. государство как «ору-

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. – С. 103.

¹⁶ См.: Неретина, С., Огурцов, А. Время культуры/ С. Неретина, А. Огурцов. – СПб, 2000. – С. 145. Выделено мной.

¹⁷ Макаренко, В.П. Научно-техническая контрреволюция... – С. 108.

дие организованной дезорганизации», 2. «бессмертная социальная структура мыслится “социоценозом”, штатным расписанием бессмертных должностей, а свобода человека становится в этом случае осознанной необходимостью выбора одной из наличных должностей, сознательного уподобления-соответствия должности», 3. «чтобы раз и навсегда избавиться от нестабильности, достаточно сократить финансирование науки и подготовку кадров. К тому же результату может привести и требование тесной связи с производством, участие науки в рационализации существующих технологий. В современном мире оба направления были бы формами самоубийства по неведению») не используют этого термина и не согласуются с ним. Контрреволюция по неведению совершиться не может. Да и самоубийство вряд ли. Здесь, на мой взгляд, очевидный и специально продуманный оксюморон. Между тем термин «научно-техническая контрреволюция» в книге употреблен в таком контексте и даже вроде бы на с. 135, с отсылкой на текст Петрова, что читатель вправе подумать, что этот термин принадлежит Петрову. Я не против применения этого термина, я против совмещения разных контекстных анализов и терминологических замещений.

Пятая глава действительно использует термин Петрова «научное поголовье» в нужном контексте, и она-то и задала тот мощный современный коммуникативный тон, о котором я говорила вначале. Между тем, мне кажется гораздо продуктивнее отказаться от апологетики/антиапологетики в философии вообще, за что, кстати, всегда ратовал Петров. Это хорошо было на первом этапе открытия новых имен (вернее: старых имен, но действовавших словно в подполье, поскольку их не печатали) в философии советского периода. Но с тех пор прошло два десятилетия, пришло время от- и о-странения.

3. Если уж мы обсуждаем книгу, то необходимо сказать не только об оплошностях весьма актуальной по замыслу книги, но и о ее недостатках.

Я могу отметить два недостатка. Первый вытекает из уже сказанного; мне кажется, что нельзя закапывать проблему (а она весьма серьезна: непреодоленная ментальность старых идеологий, замещение конкретных действий симулякрами этих действий, формирование «нового человека» в ситуации пустоты, массовизации, разношерстности с одновременной унификацией и пр.) с помощью странных желаний видеть в чем-то действительно важном и актуальном, *действенном* приспособленчество и ложь, какие-то тайные происки и заигрывание титанов мысли с властью предрержащими. Я это показала на примере А.Я. Гуревича, но не менее показательны примеры с В.И. Вернадским, которого я, естественно, не могла знать, но знала сына П.А. Флоренского, печатавшегося в журнале «Природа», где я служила редактором, который воспитывался в доме Владимира Ивановича, с Ю.М. Лотманом, которому я лично обязана не только тем, что была на его «озерной школе», печаталась в «Семиотике», но прежде всего тем дружеством, царившим в его доме, его демократизмом, избегавшим любого панибратства, добросердечием, памятьливостью. Здесь наотмашь нельзя.

Второй вытекает из первого и относится к используемому языку. Я перечислю лишь несколько употребленных в книге слов: «докторница», «Госпожа Профессор» (не уважительно, а язвительно-пренебрежительно), «удрученная дама», «новый запой», «помойная яма» и «чистые сортиры». Я согласна со многими оценками, данными некоторым участникам круглых столов и конференций, но не согласна с применением «трусщобного» языка: он не просто снижает уровень обсуждаемых проблем, он способен позволить пренебречь ими, их не заметить, уничтожить, унижить. Между тем люди на конференциях открыто выражали свои тревоги и боль, хотя предмет этих тревог мог быть не менее, скажем так, странным. Однако пришли они не «туда», а «сюда», соответственно – заслуживают уважения. В данном случае Виктор Павлович, «сознательно или бессознательно», играет роль рупора тех леворадикальных сил, которые любили смотреть, как «Богданов сидит в луже и охорашивается», и против которых совершенно оправданно направлена его казацкая удаль.

Анализ требует остранения, взвешенного обдумывания, которым обладал Михаил Константинович Петров и уже потому этот его анализ принадлежит истокам мысли. В этом смысле название книги совершенно оправданно. Ток этих истоков пронизывает книгу даже и при отсутствии изобилия цитат. Да и запал автора книги вполне понятен. Чего стоит упоминание об одном лишь деле против М.Н. Супруна¹⁸, открытом в условиях декларированного отсутствия политических дел, об обысках, о необходимости согласования с ректоратом текстов выступлений на конференциях с участием зарубежных ученых или создании комиссии по противодействию фальсификации истории, – то, чем справедливо возмущился В.П. Макаренко. От одного этого перечня можно потерять контроль.

Однажды мы с А.П. Огурцовым в магазине в книге обнаружили открытку с таким текстом: «ВНИМАНИЕ! Эта книга содержит ложь и клевету о Великой Отечественной Войне, оскорбления в адрес ветеранов. Автор намеренно искажает факты о Победе над фашизмом, несмотря на то, что фальсификация истории преследуется по закону! Покупая эту книгу, вы спонсируете ПРЕДАТЕЛЯ И ПРЕСТУПНИКА!» Открытку храню, как важный документ эпохи. Ничего, кроме омерзения, такой незаконный, трусливый и очевидно кем-то инспирированный акт вызвать не может.

Пафос книги – не менее важный, чем анализ современного состояния науки и философии, – заключается и в том, чтобы обратить внимание на сквернейшее состояние жизни, достойное негодования.

¹⁸ Там же. – С. 221.